Государевы люди

Надточий В.Д.

ПРИГОВОР БЕЗ ПОДПИСИ



18+

Владислав Надточий

Государевы люди. Приговор без подписи

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Приговор без подписи / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Мёртвые не пишут писем. Но человек, которого уже шесть лет считают погибшим, словно знает наперёд каждый шаг расследования.1914 год. Варшава. На фоне разгорающейся мировой войны Ведерников и его товарищи оказываются втянуты в опасную игру, где убийства, исчезновения и загадочные послания складываются в единую цепь. За каждым новым открытием скрывается очередная загадка, а цена ошибки измеряется человеческими жизнями.Война приближается. Времени на поиски истины остаётся всё меньше. И далеко не каждому суждено узнать, кто вынес приговор без подписи.Исторический шпионский детектив из серии «Государевы люди».

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Глава 1. Последний поезд 7
Глава 2. Чужие среди своих 13
Глава 3. Прапорщик запаса 18
Глава 4. Повешенный на Праге 24
Глава 5. Голубятня 29
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Владислав Надточий
Государевы люди. Приговор без подписи

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Надточий В.Д.
ПРИГОВОР БЕЗ ПОДПИСИ

Пролог

Мёртвые не пишут писем. Полковник Ведерников тоже так считал — до той ночи, когда русские сапёры взорвали мосты через Вислу, а на сиденье его пролётки кто-то оставил белый конверт. Ни адреса, ни печати. И ни одного свидетеля.

— Кто подходил к экипажу? — спросил он. Бекетов, возившийся с упряжью, покачал головой. Вокруг толпились сапёры, мимо тянулись последние обозы. Кто-то звал потерявшегося мальчишку. Когда Ведерников отправлялся к мосту, сиденье было пусто. Полковник оглядел толпу. Посыльный мог уже затеряться среди отступающих.

Ведерников надорвал конверт ногтем. Плотная карточка, ровно обрезанные края. На лицевой стороне — два слова: «Третий звонок». За всё время расследования это была третья такая карточка. Две предыдущие он хранил во внутреннем кармане мундира. Круглые, аккуратно выведенные буквы он узнавал с первого взгляда. Впервые этот почерк встретился ему на протоколах допроса 1909 года. Потом ему показали свидетельство о смерти, подписанное врачом Трубецкого бастиона.

За спиной прогремел новый взрыв. Ведерников машинально пригнул голову. Там, где ещё недавно тянулись железные пролёты, над рекой взметнулось облако дыма. Бекетов крикнул что-то Дмитрию, но Ведерников не расслышал. Он перевернул карточку. «Григорий Петрович. Спектакль окончен, публику просят покинуть зал…» Последние строки заставили его остановиться. Отправитель знал о Буреке. И просил не искать его — будто не сомневался, что полковник всё равно начнёт поиски.

«Сыгранной ролью»? Ведерников сжал карточку. Картон хрустнул. За год он объездил десятки станций и штабов, обыскивал квартиры, находил тайники с оружием. Он доверился не тем людям и не сумел спасти того, кого должен был защитить. А тот, кого похоронили шесть лет назад, называл всё это спектаклем. Откуда он знал, что именно этой ночью Ведерников окажется у взорванного моста?

Шесть лет назад из почтового вагона исчез список сорока двух секретных сотрудников. Начальство уверяло: пропажу обнаружили вовремя, бумаги вернули в целости. Спустя несколько лет люди из списка один за другим стали погибать при странных обстоятельствах. Ведерников пытался понять, кто продаёт их имена. Теперь он не был уверен даже в том, кто покупатель.

Он поднял глаза. Дмитрий стоял у колеса пролётки, а Бурек беспокойно обнюхивал дорожную пыль. Мимо шли солдаты и беженцы. Подбросивший конверт мог наблюдать за ним из толпы. Ведерников хотел приказать найти незнакомца, но вокруг были тысячи людей. Кого здесь искать?

Всё началось годом раньше, с ночного поезда на Вену. В кармане у Ведерникова лежала анонимная записка: «Он продаёт всё сразу». Тогда он думал, что ищет одного предателя. Даже зная, сколько жизней будут стоить эти четыре слова, он всё равно сел бы в тот поезд. Только Селезнёва оставил бы в Варшаве.

Глава 1. Последний поезд

Поезд на Вену уходил из Варшавы в половине одиннадцатого вечера 16 июля 1914 года по старому стилю. Железная дорога ещё жила по мирному расписанию. Носильщики перекликались на перроне, пассажиры искали свои вагоны. Кондукторы проверяли билеты, буфетчик в вагоне первого класса откупоривал зельтерскую, дамы жаловались на духоту. Под лампами шелестели газеты. На первых полосах писали о войне Австрии с Сербией, а в редакционных статьях ещё надеялись, что Россия сумеет уладить дело.

Подполковник Ведерников ехал во втором классе, в штатском, с номером «Курьера Варшавского» на коленях. Газету он так и не развернул: смотрел в окно, за которым проплывали огни станций — Скерневице, Колюшки, Петроков — и по старой маньчжурской привычке беззвучно считал их.

Напротив сидел вахмистр Селезнёв, тоже в штатском. Пиджак жал в плечах, зато рукава закрывали кисти. Он лузгал тыквенные семечки, собирал шелуху в ладонь и ссыпал её в кулёк из той же газеты. За четыре часа пути он не произнёс ни слова. Ведерников служил с ним третий год и знал: если Селезнёв заговорит без спроса, значит, что-то горит.

Кондрату Селезнёву шёл тридцать третий год. Родом из Порхова, из старообрядческой семьи, он отслужил срочную в лейб-гвардии Литовском полку, дослужился до унтера и перешёл в корпус, потому что в корпусе больше платили, а у него на руках была мать и три сестры на выданье. Светловолосый, рыжеусый, с тяжёлыми руками кузнеца, он смотрел на задержанных так спокойно, что те нередко сами начинали говорить правду. В управлении его звали Молчуном. В лицо прозвище произносить не решались.

Первые полгода Ведерников сравнивал Селезнёва с покойным Кузьмой Лукичом Панкратовым. Ни повадками, ни голосом они не походили друг на друга. Со временем Ведерников перестал искать в новом вахмистре черты прежнего.

— Петроков, — сказал Ведерников, когда поезд дёрнулся и пошёл. — Дальше Радомско, Ченстохов, Зомбковицы. Потом Граница.

Селезнёв кивнул и ссыпал шелуху в кулёк.

Ведерников снова нащупал в кармане записку. Три дня назад её принесли в управление с городской почтой. Обратного адреса не было. На конверте значилось: «Подполковнику Ведерникову. Лично». Штемпель был поставлен на Праге — варшавском предместье за Вислой. Внутри оказался листок, вырванный из конторской книги. На нём было пять строк:

«Шестнадцатого. Ночной на Вену. Граница. Багажный вагон, перед австрийским досмотром. Он продаёт всё сразу».

Подписи не было. Буквы — мелкие, ровные, без единой петли. Ни на «д», ни на «у», ни на заглавной «Г». Он долго разглядывал записку на столе, затем достал из ящика газетную вырезку четырёхлетней давности с карандашной припиской на полях и положил её рядом. Почерк был похож. Ведерников придвинул листы друг к другу и сверил каждую букву.

Этот почерк он помнил с девятьсот девятого года: тогда мещанин Кривошеин подписал им восемнадцать листов протокола допроса в Трубецком бастионе. Смерть того удостоверил крепостной врач.

И смысл слов «Он продаёт всё сразу» Ведерников понимал слишком хорошо. За последний год в Варшаве, в Лодзи и в Твери погибли трое людей, чьи клички он помнил наизусть: они стояли в списке сорока двух секретных сотрудников, том самом, который в июне девятьсот девятого года взяли из почтового вагона под Тверью и который осенью вернули в Департамент целым, с пятью сургучными печатями. Именно целым — так значилось в описи. Ведерников направил в Департамент шесть рапортов и всякий раз получал ответ, что список хранится в

надлежащем месте, что опасения подполковника лишены основания и что подполковнику следует сосредоточиться на делах своего управления.

Седьмой рапорт он писать не стал. Сослался на семейные обстоятельства, выпросил трёхдневный отпуск и отправился ночным поездом вместе с Селезнёвым.

Станция Граница стояла там, где кончалась Российская империя. За шлагбаумом, полосатой будкой и мостиком через Белую Пшемшу начиналась Австрия. Дальше лежали станция Щакова и галицийские поля, а через восемь часов пути — Вена. Вокзал, выстроенный из красного кирпича, с башенкой и двуглавым орлом над входом, внушал уважение к державе ещё до проверки паспортов. В просторном таможенном зале уместился бы целый батальон. Здесь пахло карболкой, кожей чемоданов и табаком. Под потолком горели электрические лампы, и вокруг них толклась мошкара.

Поезд опоздал на сорок минут. Перрон заполнили жандармы и таможенники. В длинном составе оказалось на удивление мало пассажиров. Носильщики курили в стороне, не спеша к вагонам. У дверей таможенного зала двое австрийских пограничных стражников в серо-голубых мундирах разговаривали с русским таможенным надзирателем, и надзиратель качал головой.

Ротмистр Бекетов встретил их у вагона, в полной форме, с шашкой и в белых перчатках. Он отдал честь так, что у Селезнёва дрогнули усы.

— Господин подполковник! Начальник жандармского отделения станции Граница ротмистр Бекетов. Рад видеть живым. Не рад видеть в штатском: это значит, что спать мне сегодня не придётся.

Илье Саввичу Бекетову исполнилось сорок. Плечистый, грузный, с чёрными усами, закрученными, как у циркового борца, он смотрел на мир маленькими весёлыми глазами. Подбородок был выбрит до синевы. На мундире у него висел солдатский Георгиевский крест, серебро которого потемнело. Крест этот он получил в девятьсот четвёртом году под Вафангоу вольноопределяющимся Александрийского гусарского полка: вынес из-под огня раненого эскадронного командира, а потом вернулся за его лошадью, потому что лошадь была хорошая. После войны он выдержал офицерский экзамен, дослужился до поручика, проиграл в карты всё, включая будущность в полку, и перешёл в корпус, где жалованье было больше, а карт меньше. На Границе он служил пятый год. Говорили, что все контрабандисты Домбровского угольного бассейна знают его в лицо и ставят за его здоровье свечку, потому что пока Бекетов на станции, им не нужно бояться никого другого.

— Я получил вашу телеграмму, — сказал Бекетов, не подавая руки, потому что в руке у него был стакан чаю. — «Встречайте багаж». Багажа у вас, я вижу, нет. Значит, багаж везут другие.

— Багажный вагон, — сказал Ведерников. — Третий от паровоза.

— Знаю. На станции его перецепляют к австрийскому составу, идущему на Щакову. — Бекетов отпил чаю и посмотрел на часы над буфетом. — Есть новость, о которой в Варшаве ещё не знают. С утра на Щаковой стоят три воинских эшелона. Пехота, лошади, полевые кухни. Мне это сказал австрийский обер-кондуктор, с которым я пятый год играю в домино. И попросил не обижаться, если в следующий раз не приедет.

Селезнёв стряхнул шелуху в кулак и ссыпал её в карман шинели. На чужой станции он не оставлял даже шелухи.

— Значит, сегодня у нас последний шанс, — сказал Ведерников.

— Сегодня многое в последний раз, — согласился Бекетов. — Пойдёмте, покажу вам вашего господина.

В вагоне первого класса, у окна под зелёным абажуром, сидел полный человек лет сорока пяти, лысый, в золотом пенсне на чёрном шнурке. На столике перед ним лежал раскрытый

каталог в коленкоровом переплёте. Пассажир делал в нём пометки карандашом, не поднимая глаз на перрон. По словам Бекетова, пассажир ехал по паспорту прусского подданного Отто Гельбаха, представителя берлинской фирмы хирургических инструментов. За последний год он проезжал здесь уже в седьмой раз и неизменно вёз ящик образцов: пинцеты, зажимы, ампутационные пилы.

— Пилы хорошие, — сказал Бекетов. — Я смотрел. Немецкая сталь. Наши госпитали закупили у него на сорок тысяч. Через месяц эти пилы будут резать наших же солдат, и он, я думаю, об этом знает лучше нас.

— Кто передаёт товар?

— Это вы мне скажите. Вы за ним ехали.

Ведерников промолчал. Не торговец привёл его сюда, а почерк на анонимной записке. Пять лет он надеялся больше не увидеть этих букв.

Человека, которому предстояло передать бумаги, Ведерников обнаружил в вагоне третьего класса. Тот сидел у окна в чесучовом пиджаке. Воротник рубашки застегнул под самое горло, хотя в вагоне было нечем дышать. Перед ним стояла корзинка с черешней, он медленно ел ягоды, складывая косточки в бумажный кулёк. По паспорту, который час назад смотрел станционный жандарм, это был рижский мещанин Фролов, торговый агент. Ведерников видел это лицо дважды, оба раза в Петербурге, в девятом году: в толпе у Петропавловки и потом на Неве, в лодке среди льдин, с винтовкой у плеча.

Фрол не повернул головы. Только перестал есть черешню.

По дороге к багажному вагону Бекетов изложил план. Между Границей и Щаковой лежали три версты пути. Русская таможня кончалась у Границы, австрийская начиналась у Щаковой. При перецепке и на коротком перегоне вагон фактически оставался без присмотра. Таможенники к нему не возвращались: досмотр уже провели. Жандармы тоже не входили — формально вагон пересёк границу. Лишь кондуктор мог знать, кто заходил туда в эти двадцать минут и что передавал.

— Кондуктор наш? — спросил Ведерников.

— Кондуктор Вишневский. Двадцать два года на дороге. У него сын в Иркутске, в военном училище. — Бекетов остановился. — Он ваш, подполковник, если вы ему скажете, что сына после этой ночи не выгонят с позором. Я ему уже сказал. Он мне поверил: за карточным столом я его ни разу не обманывал.

Вишневский оказался невысоким седым человеком с подстриженными усами и медной бляхой на груди. Не задавая вопросов, он отпер багажный вагон и указал на место за дощатой перегородкой, где до потолка стояли ящики, обшитые рогожей. На рогоже чернилами было написано: «Т-во Кузнецова. Фарфор. Не кантовать».

— Посуду везут в Вену, — сказал он. — На выставку. Там не повернуться, господа. Зато, если затаить дыхание, поместитесь.

— Этот умеет не дышать, — сказал Бекетов о Селезнёве. — Он в Литовском полку на часах у дворца по четыре часа не моргал.

Селезнёв ничего не ответил. Он снял фуражку и сунул её за пазуху, чтобы не блестела кокарда, и полез за ящики первым. Ведерников последовал за ним. Бекетов остался снаружи: его все знали на станции, и его отсутствие на перроне заметили бы раньше, чем присутствие в вагоне.

Последним, что Ведерников увидел через щель в перегородке, был Вишневский: тот зажёг фонарь под потолком и прикрутил фитиль так, что свет стал жёлтым и тусклым.

Вагон дёрнулся. Лязгнули буфера. Маневровый паровоз потащил его прочь от станции. Ведерников сидел на корточках между ящиками. Колени затекли, спина ныла от холодной рогожи. В сорок восемь лет такие укрытия давались ему куда тяжелее, чем прежде.

Фрол пришёл через двадцать минут, когда вагон уже стоял. Ведерников услышал, как отъехала дверь. Фрол поднялся с насыпи в вагон и задвинул её за собой. Лёгкие шаги приблизились к фонарю и замерли. Долго ничего не было слышно, потом зашуршала бумага: он развязывал свёрток.

Гельбах пришёл ещё через пять минут. После быстрой ходьбы по шпалам он тяжело дышал.

— Вы точны, — сказал он по-русски, с мягким остзейским выговором. — Это хорошо. В нашем деле точность дороже ума.

— Деньги, — сказал Фрол.

Щёлкнул замок саквояжа.

— Двадцать тысяч, как условились. Десять здесь, десять в Кракове, в конторе, которую вы знаете. Половину сейчас, половину когда наши люди проверят, что имена настоящие.

— Имена настоящие.

— Не сомневаюсь. Но у меня тоже есть начальство.

Бумага снова зашелестела. Ведерников представил, как Гельбах наклоняется к фонарю и смотрит на листы. Сорок два имени. Пять лет их обладатели считали себя в безопасности: список с их кличками и адресами будто бы вернулся в сейф и больше его не покидал. Двоих он знал лично. Один был учитель гимназии в Ченстохове, другой держал на Праге аптеку и в одиннадцатом году спас ему жизнь, вовремя закрыв ставни.

Селезнёв замер рядом.

Наконец Фрол заговорил:

— Ваксой пахнет.

Гельбах переспросил.

— Что?

— Сапогами пахнет. Свежей ваксой. Фарфор так не пахнет.

Он выстрелил в фонарь раньше, чем Ведерников успел выпрямиться. Посыпалось стекло. Свет погас, потянуло керосином. Селезнёв рванулся из-за ящиков на голос, кто-то тяжело ударился о доски. Затем глухо стукнуло — словно кого-то огрели рукоятью револьвера. Селезнёв охнул и повалился на пол.

— Стоять! Жандармская полиция! — Ведерников выбрался в проход и направил браунинг в темноту. Стрелять он не мог: где-то тут лежал его вахмистр.

Дверь отъехала в сторону, и вагон залило лунным светом. На мгновение Фрол задержался в проёме. Ведерников успел разглядеть его спокойное лицо и застёгнутый воротник. Потом Фрол прыгнул вниз, на насыпь, и исчез.

Гельбах бросился к противоположному выходу. Саквояж болтался у него в одной руке, пачку листов он прижимал другой. Гельбах устремился по шпалам к Щаковой, где в полуверсте горели огни австрийского кордона и белел полосатый шлагбаум. Бежал он неловко, высоко задирая колени; полы пиджака хлопали за спиной.

Ведерников бросился за ним. Он считал шаги, как учили в юнкерском училище тридцать лет назад, и на сотом понял, что не догонит. Гельбах был тяжелее, но моложе. И впереди его ждали свои.

У шлагбаума закричали по-немецки. Двое австрийских пограничных стражников в высоких кепи выскочили из будки, увидели человека в пенсне, а следом — преследователя в штатском с браунингом в руке, и подняли шлагбаум. Похоже, их предупредили заранее. Гельбах пробежал под ним и только тогда остановился и обернулся. Он тяжело дышал, однако улыбался.

Ведерников остановился у пограничного столба. Его покрывали косые чёрные и белые полосы; на нём висела жестяная табличка с двуглавым орлом. Дальше было нельзя. Переступи он границу с оружием — и к утру Вена получила бы повод обвинить русских жандармов в

вооружённом вторжении. Даже теперь, на пороге войны, Ведерников не имел права на такой шаг.

— До встречи в Варшаве, господин подполковник! — крикнул Гельбах по-русски и поднял над головой пачку листов. — Я непременно приеду. Я люблю этот город!

Шлагбаум опустился. Стражники вскинули винтовки, но не прицелились.

Ведерников не двинулся с места. Гельбаха вели под руки к будке; следом несли саквояж. Он опустил глаза. На шпалах, в трёх шагах от него, по эту сторону границы лежали листы. Возможно, Гельбах выронил их на бегу, когда пытался удержать саквояж. Подняв листы, он пересчитал их при лунном свете. Семнадцать. Он поднёс верхний к глазам.

Писал не Кривошеин. Буквы были ровные, писарские, чуть наклонённые, а буква «д» заканчивалась широкой аккуратной петлёй, какую выводят люди, когда-то бравшие уроки каллиграфии. В девятьсот девятом году Ведерников не раз встречал такую петлю на служебных бумагах. Её автор умер в Ницце в феврале десятого года.

Сзади послышались торопливые шаги. Подошёл запыхавшийся Бекетов. Он приехал от станции на дрезине с двумя жандармами и теперь стоял рядом, без фуражки, с наганом в опущенной руке.

— Вахмистр жив, — сказал он. — Голова крепкая. Сидит и ругается по-старообрядчески, без единого бранного слова. А этот?

— Ускользнул.

— Какой?

— Оба. — Ведерников протянул ему листы. — Здесь семнадцать. Сколько у него осталось, не знаю. Если на каждом листе по одной записи, у Гельбаха должно было остаться двадцать пять.

Бекетов взял листы, пробежал глазами верхний и вернул.

— Двадцать пять записей, — сказал он.

— Двадцать четыре живых, — сказал Ведерников. — Один уже повесился. Мне телеграфировали из Варшавы вчера утром. Он был в списке под кличкой «Звонарь».

Они помолчали. Ведерников достал чужие серебряные часы, с гравировкой на крышке: «С. Г. от сослуживцев. Ляоян, 1904». Десять лет он носил их и каждое утро заводил, хотя прежнему хозяину время уже было ни к чему. Стрелки показывали без двадцати два.

Бекетов взглянул на часы, прочёл надпись и отвёл глаза. Расспрашивать он не стал.

— Под Вафангоу, — сказал он вместо этого, — мы стояли ночью в роще и слушали, как японцы на той стороне поют. Хорошо пели. Наш эскадронный сказал, что раз поют, то до утра не полезут. Я тогда был вольноопределяющийся, мне было тридцать лет, и я поверил. — Он надел фуражку. — А потом утром началось.

Бекетов пошёл к дрезине. Ведерников ещё постоял у столба, глядя на австрийскую будку. Там горел свет, в окне двигались тени. Наконец пошёл за Бекетовым.

На следующий день, семнадцатого июля, в шестом часу вечера, на перрон станции Граница вышел начальник станции с телеграфной лентой в руке. Он поднялся на скамейку у буфета, снял фуражку и прочёл вслух, сбиваясь и то и дело начиная сначала: государь император повелел привести армию и флот на военное положение и что первым днём общей мобилизации назначено восемнадцатое июля. На перроне стояли пассажиры задержанного венского поезда, носильщики, торговки с корзинами, два ксёндза и австрийский обер-кондуктор, тот самый, который играл с Бекетовым в домино. Никто ничего не сказал. Один из ксёндзов перекрестился. Обер-кондуктор надел фуражку и пошёл через пути к своему составу, не оглядываясь.

Селезнёв стоял у стены вокзала с повязкой на голове. Он достал из кармана шинели горсть тыквенных семечек, посмотрел на неё и высыпал на землю, под ноги голубям. Потом отряхнул ладони, словно покончил с важным делом.

— Всё, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Теперь некогда.
До войны оставалось два дня.

Глава 2. Чужие среди своих

Германия объявила России войну девятнадцатого июля, в субботу, в седьмом часу вечера по петербургскому времени. В Варшаву известие дошло к ночи. К утру двадцатого город перешёл на военный распорядок.

На Краковском предместье, знакомом ему уже пять лет, Ведерников вдруг почувствовал себя чужим. Лавки ещё работали, но покупатели спрашивали лишь дорожные вещи да припасы. У Гейслера на Новом Свете раскупили все дорожные несессеры, у Веделя шоколад в жестянках брали ящиками, будто готовились к осаде. Перед костёлом Святого Креста стояла очередь женщин в чёрном, хотя ещё никого не убили. На углу Свентокшиской мальчишки продавали экстренный выпуск «Курьера Варшавского», и газеты выхватывали у них из рук, забывая о сдаче. У памятника Копернику кто-то повесил на ограду трёхцветный флаг, а рядом белого польского орла на красном полотне, и городовой, проходя мимо, сделал вид, что не заметил ни того, ни другого.

По Уяздовским аллеям шёл полк. Номера на погонах Ведерников не разглядел, но по выправке узнал гвардейцев: шагали широко, в ногу, распевая старую солдатскую песню — «Соловей, соловей, пташечка». Барышни бросали в строй астры и флоксы. Солдаты ловили цветы на лету и втыкали в дула винтовок. Один усатый унтер поймал астру зубами, и толпа закричала «браво», как в театре.

Ведерников проводил взглядом последнюю роту. В сорок восемь лет он хорошо помнил, как в девятьсот четвёртом провожали солдат на японскую войну. Тогда тоже летели цветы. Половина солдат осталась в Маньчжурии, а вторая половина вернулась и через год стреляла в студентов на тех же улицах. Он отвернулся. Перед глазами снова стояла Маньчжурия.

В губернском жандармском управлении было пусто и гулко. Одни офицеры с утра уехали на совещание в штаб округа, другие сжигали во дворе бумаги. Так предписывала инструкция: всё, что касалось агентуры в приграничных уездах, полагалось при угрозе неприятельского вторжения уничтожить. Неприятеля ещё не видели, однако инструкцию из Петербурга получили весной, и начальник управления генерал Дерюгин не любил откладывать то, что можно сделать сегодня. Над двором клубился сизый дым; в нём вахмистр в одной рубашке ворошил кочергой огонь, словно дворник осеннюю листву.

Дерюгин принял его стоя. Грузный, седой, с тяжёлыми веками, он прослужил в корпусе тридцать лет и давно усвоил одно правило: любое затруднение лучше вовремя передать вышестоящему начальству. Он выслушал доклад о Границе, не перебивая. Потом взял семнадцать листов, подержал на ладони, словно пытался оценить их вес, и положил на край стола.

— Больше не наше дело, Григорий Петрович.

— Это наше дело с девятого года, ваше превосходительство.

— С девятого года до вчерашнего дня. — Дерюгин взял со стола печатный лист и протянул ему. — Положение о полевом управлении войск в военное время. Читали? Варшава объявлена на военном положении. Всё, что касается шпионства в районе действующей армии, переходит к контрразведывательному отделению штаба. Нам оставлены, — он поискал глазами строчку, — «содействие и исполнение поручений». То есть мы теперь у армии на посылках. Езжайте в штаб, к полковнику Ремезову. Отдайте ему ваши листы, расскажите про своего австрийца с пилами. Пусть армия разбирается.

— Армия не знает этих людей.

— Армия, подполковник, теперь знает всё, — сказал Дерюгин совершенно серьёзно. — Такое у неё положение.

Дерюгин уже читал следующую бумагу. Ведерников забрал портфель и вышел. В штабе придётся начинать объяснения сначала.

Штаб Варшавского военного округа размещался в Саксонском дворце. К полудню туда было не пробиться. Подъезжали автомобили с флажками, ординарцы на взмыленных лошадях, извозчики с офицерами запаса, которые ещё вчера были присяжными поверенными и инженерами, а сегодня путались в портупеях и отдавали честь левой рукой. На ступенях стоял часовой лейб-гвардии Кексгольмского полка и смотрел поверх голов, будто суета у дворца его не касалась.

Контрразведывательное отделение помещалось в двух комнатах третьего этажа, в конце коридора. Там пахло мышами и сургучом. В первой комнате работали три писаря; рядом сидел штабс-капитан с забинтованной рукой. Записав фамилию Ведерникова на клочке бумаги, он скрылся во второй комнате и вскоре вернулся.

— Господин полковник просит подождать.

В приёмной он провёл три часа.

Устроившись у окна, он положил на колени портфель с семнадцатью листами и наблюдал за теми, кто проходил мимо. Среди них были штабные офицеры с аксельбантами и интенданты. Какого-то штатского в котелке провели во вторую комнату без очереди. Пожилого еврея, жаловавшегося на реквизированную лошадь, выставили за дверь. Посыльные сновали с пакетами. На Ведерникова никто не обращал внимания. Голубой мундир делал его невидимым, как делает невидимой ливрея лакея.

В армии жандармов называли голубыми. В этом прозвище слышалось презрение строевых офицеров к тем, кто ушёл из полка ради лишних сорока рублей жалованья. Строевые подозревали, что жандарм служит не государю, а департаменту и доносит на своих. Помнили и девятьсот пятый год, когда армию заставили делать грязную работу, а жандармы потом составляли списки отличившихся и неблагонадёжных. За двадцать лет в голубом мундире Ведерников научился не замечать таких взглядов. Но сегодня, когда по Уяздовским аллеям шла гвардия с астрами в дулах, привычное пренебрежение задевало его сильнее обычного.

В четвёртом часу дверь второй комнаты открылась, и оттуда вышел полковник.

Полковнику Генерального штаба Николаю Евграфовичу Ремезову было сорок семь лет. Высокий, сухощавый, с узким лицом и короткими светлыми усами, он чуть припадал на левую ногу. Даже пробор у него был словно по уставу, а китель сидел без единой складки. Он кончил академию первым в выпуске, восемь лет служил в разведывательном отделении штаба округа, знал немецкий, польский и идиш, а в свободное время, говорили, решал шахматные задачи из берлинских журналов, не расставляя фигур. Ходили слухи и о том, что в девятьсот седьмом году его младшего брата, подпоручика, арестовали жандармы по доносу провокатора и что брат два месяца просидел в Цитадели, прежде чем выяснилось, что донос ложный. Брат после этого вышел в отставку и уехал в Аргентину. Ремезов с тех пор не подавал жандармам руки.

Ремезов руки не подал.

— Подполковник Ведерников, — сказал он, глядя на голубой мундир, а не на лицо. — Мне доложили. Вы привезли что-то с Границы. Прошу.

Вторая комната была тесной, с единственным окном во двор. На столе лежала карта губернии. Её углы прижимали пресс-папье, чернильница, револьвер и стакан чаю. На стене висел портрет государя, а рядом, чуть ниже, — фотография какой-то крепости, снятая с аэроплана. Ремезов сел за стол. Ведерников остался стоять.

Ведерников доложил коротко, как привык на службе. О девятом годе на этот раз умолчал. Карандаш Ремезова мерно стучал по краю карты. Из семнадцати листов, выложенных перед ним, он прочёл лишь первые три. Потом сложил бумаги и отодвинул.

— Значит, так, — сказал он. — Пять лет назад ваше ведомство потеряло список секретных сотрудников Московского охранного отделения. Часть из них после того скандала перевели из Москвы подальше, в Привислинский край, где их никто не знал в лицо. Список вер-

нули, но кто-то успел снять копию. Копию продали немцам вчера, на ваших глазах, и вы не смогли этому помешать. Верно излагаю?

— Пока всё верно.

— Семнадцать листов копии вы подобрали на шпалах. Остальные двадцать пять могли оказаться в Кракове или уже в Берлине. Ваши двадцать пять осведомителей теперь известны германской разведке поимённо, вместе с адресами. Немцы предложат им служить на себя. Кто откажется, того убьют или выдадут нам в таком виде, что мы сами их повесим. Кто согласится, будет приходить к вам на явки и рассказывать то, что напишут в Берлине. — Он положил карандаш. — Подполковник, а вы не задумывались, почему ваше ведомство держит у себя таких сотрудников, что их можно купить списком, как скот?

— Пять лет только об этом и думаю, господин полковник.

— И к какому выводу пришли?

— Что их купили не списком. Их купили тогда, когда завербовали. Список только говорит, где их искать.

Ремезов впервые посмотрел ему в глаза.

— Складно. Только делу от этого не легче. Чего вы от меня хотите, подполковник?

— Двадцать пять фамилий. Мне нужен доступ к армейским спискам, чтобы проверить каждого: кто из них мобилизован, кто служит в тыловых учреждениях, кто на железной дороге, кто в интендантстве. Если немцы начнут их перевербовывать, они начнут с тех, кто ближе к армии.

— Фамилии помните?

— По памяти восстановлю клички. Фамилии по копии списка, которая хранится в Петербурге, в Департаменте полиции. Я вчера телеграфировал. Ответ будет через три дня, если почта не встанет.

— Почта встанет, — сказал Ремезов. — Сегодня с полудня всё движение по Варшавско-Петербургской дороге отдано под воинские перевозки. Ваш пакет из Петербурга доставят лишь после шести армейских корпусов. Недели через две.

Ремезов встал и подошёл к окну. Во дворе солдаты грузили на подводы ящики с бумагами штаба. Мирный распорядок рушился на глазах.

— Я скажу вам откровенно, подполковник, — сказал Ремезов, не оборачиваясь. — У меня в отделении одиннадцать человек. Через неделю будет двадцать, через месяц, может быть, сорок. Немецкая агентура в крае, по нашим сведениям, насчитывает не меньше трёхсот человек, и это только те, о ком мы знаем. На каждой станции сидит немецкий колонист, у которого в погребе голубятня. На каждом заводе мастер из Лодзи, который пишет письма тётушке в Бреславль. У меня нет людей, чтобы заниматься ещё и вашими осведомителями, которых ваше ведомство не уберегло. Ваши двадцать пять человек теперь для меня двадцать пять подозреваемых. Найдёте их раньше немцев — сообщите фамилии, я распоряжусь об аресте. Опоздаете — распоряжусь всё равно.

— Некоторые из них двадцать лет служили безупречно.

— Среди них есть люди, которые двадцать лет брали деньги за то, что доносили на соседей, — сказал Ремезов. — Простите, подполковник, но я не вижу, почему они должны быть честнее со мной, чем с соседями.

Ведерников не ответил. Ремезов взял чистый бланк и написал несколько строк.

— Вот, — сказал он. — Предписание всем чинам железнодорожной жандармерии и полиции оказывать вам содействие в розыске лиц, подозреваемых в шпионстве. Подписано мной от имени начальника штаба. Это всё, что я могу. Ни людей, ни денег, ни автомобиля я вам дать не могу. Будут сведения о немецкой агентуре, извольте докладывать мне, а не вашему генералу. Ваш генерал теперь числится по ведомству обозов. — Ремезов впервые за разговор усмехнулся, но глаза остались холодными. — Список оставьте у меня.

— Список я оставлю у себя, господин полковник. Копию сниму и пришлю вам к вечеру.

— Я вам приказываю.

— Это вещественное доказательство по делу, которое ведётся в губернском жандармском управлении с девятого года. Изъять его можно только постановлением прокурора судебной палаты. Если вы такое постановление получите, я отдам список немедленно.

Ремезов не отвёл глаз. Потом медленно опустился в кресло.

— Голубые, — произнёс он так, словно выругался, и, не глядя на Ведерникова, подписал ещё одну бумагу. — Идите, подполковник. Копию к семи часам.

В коридоре штабс-капитан с забинтованной рукой посмотрел на него с сочувствием.

— Он со всеми так, — сказал штабс-капитан тихо. — Вы не принимайте. Вчера он генерал-квартирмейстера выгнал.

— Привык, — ответил Ведерников.

На Саксонской площади его ждал Селезнёв. Вахмистр стоял у ограды, в фуражке поверх повязки, с видом человека, которому дали три дня на выздоровление, а он ограничился половиной дня. На скамейке рядом сидел ротмистр Бекетов и курил.

Появление Бекетова удивило Ведерникова. Ротмистр сразу объяснил, зачем приехал. Станция Граница со вчерашнего вечера была пуста. Германские ландверные части утром перешли прусскую границу у Мысловиц, без выстрела, и заняли Сосновицы. Железнодорожное жандармское отделение получило приказ отходить на Варшаву, и Бекетов вывез кассу, архив, двух нижних чинов, телеграфный аппарат и австрийского обер-кондуктора, которого он нашёл утром спящим на скамейке в зале третьего класса. Обер-кондуктор опоздал на последний поезд. Интернировать его было не за что, а отпускать — некуда. Бекетов так и не решил, что с ним делать.

— Я его сдал коменданту, — сказал Бекетов. — Он просил передать, что знает Гельбаха. Гельбах ездит через Границу седьмой год и всегда даёт на чай кондуктору десять крон. По его словам, для торговца пилами это слишком много. Я с ним согласен.

— А вас куда определили?

— В распоряжение начальника Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог, — сказал Бекетов, выпуская дым. — То есть на Венский вокзал, считать вагоны с беженцами. Это если повезёт. Если не повезёт, на Тереспольский. Там вагоны грязнее. — Он взглянул на Ведерникова снизу вверх. Тот узнал взгляд, замеченный вчера у пограничного столба: спокойный, внимательный, с искрой любопытства. — Что сказал армейский?

— В штабе мне сразу объявили: людей не дадут.

— А свои у вас есть?

Ведерников покосился на Селезнёва. Вахмистр тотчас вытянулся.

— У меня есть вахмистр, — сказал Ведерников. — И предписание оказывать мне содействие, подписанное от имени начальника штаба. — Он достал бумагу и показал. — Здесь сказано: «всем чинам железнодорожной жандармерии». Вы, Илья Саввич, чин железнодорожной жандармерии.

Бекетов прочёл предписание, удивлённо поднял брови и вновь пробежал глазами строки. Затем откинулся на спинку скамейки и расхохотался так громко, что часовой у ворот дворца обернулся.

— Вы мне нравитесь, подполковник, — сказал он, отсмеявшись и вытирая глаза. — Я, знаете, шесть лет не играл в карты. Бросил после того, как проиграл в полковом собрании кобылу, жалованье за полгода и честное слово. Честное слово я потом выкупил, это было труднее всего. А сейчас вы мне сдаёте карту, и я вижу, что она краплёная, и вы знаете, что я вижу. И я всё равно хочу сесть за стол. Это дурной знак.

— Против кого играем?

— Против Гельбаха, — сказал Бекетов и поднялся. — Где у вас квартира? Мне надо где-то держать телеграфный аппарат. Я его, видите ли, не сдал коменданту. Забыл.

Вечером, в половине седьмого, Ведерников отправил в Саксонский дворец копии семнадцати листов, переписанные Селезнёвым. У вахмистра был крупный ровный почерк ротного писаря, без единого наклона, и Ведерников подумал, что Ремезов, читая копии, решит, будто жандармы и пишут как солдаты. Сейчас мнение полковника его не занимало.

Оригинал он положил в несгораемый ящик у себя на квартире, на Хмельной. Затем сел за стол и принялся восстанавливать по памяти клички. Он помнил их тридцать одну. Семнадцать значились на листах, подобранных со шпал. Ещё четырнадцать он выписал столбиком и против каждой поставил вопросительный знак: эти теперь были у Гельбаха. Ещё одиннадцать кличек за пять лет ушли из памяти совсем. Последней появилась кличка «Звонарь». Вместо вопросительного знака он поставил напротив неё крест.

За окном всю ночь по Хмельной к Венскому вокзалу шли полки, и Ведерников слышал, как по булыжнику стучат колёса орудий и как кто-то в строю раз за разом затягивает одну песню, сбивается и не может допеть.

Глава 3. Прапорщик запаса

В Твери первым признаком войны стало исчезновение кваса с Миллионной.

Квасник Ерофеич двадцать лет ставил бочку на углу у Пожарной площади. Двадцатого июля он не появился. На следующий день бочка тоже осталась на месте. Двадцать второго Пелагея Ивановна отправилась разузнать, в чём дело, и принесла новость: Ерофеича забрали по ополчению, хотя ему пятьдесят один год и у него грыжа. Бочку забрал зять — теперь возит в ней воду для конного запаса на Волжскую набережную.

— Вот с чего всё начинается, — сказала Пелагея Ивановна, ставя самовар. — В японскую тоже с кваса началось. Сперва квас, потом сахар, потом мужиков нет. А после объявляют победу. Только мужиков домой не воротишь.

Ей исполнилось восемьдесят семь. Она пережила Крымскую, турецкую и японскую войны. У каждой, по её словам, были одни и те же приметы. Оболенцев давно перестал с ней спорить.

Повестка пришла двадцать четвёртого. Её принёс рассыльный от уездного воинского начальника, мальчишка лет пятнадцати. Он долго топтался на крыльце: поручение важное, да и пятачок получить хотелось. Пелагея Ивановна дала ему пятак и пирожок с луком, а когда он ушёл, принялась чистить картошку. Картошки уже хватало на два ужина, а она всё чистила.

В повестке было сказано, что прапорщик запаса армейской пехоты Оболенцев Андрей Иванович призывается на действительную службу и обязан явиться к уездному воинскому начальнику не позднее двадцать седьмого июля. Слово «прапорщик» было напечатано, а «Оболенцев» вписано от руки, с ошибкой: «Оболенцов».

Оболенцев перечитал повестку. Сперва он решил, что призвать его не могут: судебный следователь по важнейшим делам, одиннадцать незаконченных расследований, из них три — об убийствах. Но затем положил бумагу на стол. Все одиннадцать дел придётся передать другому.

Прапорщиком запаса он стал девять лет назад. Тогда, после университета, он отбыл год вольноопределяющимся в сто сорок втором пехотном Звенигородском полку, выдержал экзамен и был уволен в запас с правом на офицерский чин. От той службы остались в памяти пыльный плац и фельдфебель, который называл его «ваше будущее благородие» и при этом бил по носкам сапог тростью, чтобы держал строй. Стрелял он тогда метко, маршировал скверно. Обоих навыков он так и не забыл.

Наутро его вызвал председатель окружного суда.

— Андрей Иванович, — начал председатель, тучный старик с седыми бакенбардами и тяжёлыми складками у рта. — Я добьюсь для вас отсрочки. Судебным чинам полагается. Нужно лишь прошение. Напишите сегодня — завтра отправлю курьером в Петербург. Здесь вы нужнее.

— Благодарю, ваше превосходительство. Я не буду писать.

Председатель оторвался от бумаг.

— Вы понимаете, что прапорщики запаса идут в маршевые роты? Командирами взводов? Вас пошлют в окопы. А там, Андрей Иванович, свидетелей не допрашивают. Там их хоронят.

— Понимаю.

— Тогда объясните мне, зачем.

Оболенцев помедлил. Можно было вспомнить товарищей по университету, уже уехавших на фронт, и Званцева из Московской охранки, который две недели назад записался добровольцем в Гренадерский корпус. Можно было признаться, что не хочет через двадцать лет оправдываться за то, где провёл войну. Но председатель не терпел красивых речей.

— Пять лет назад, ваше превосходительство, — сказал Оболенцев, — я вёл дело о налёте на почтовый вагон. Вы помните. Там погибли люди, которые служили. Конвойные, жандармский вахмистр, полковник. Я тогда понял, что закон держится не на судебных уставах, а на тех, кто готов за него встать под пулю. Мне стыдно было бы теперь сидеть в кабинете.

Председатель снял очки. Несколько секунд он молча смотрел на Оболенцева.

— Идите, — сказал он. — Идите, Андрей Иванович. Дела сдайте Курбатову. Он, конечно, всё перепутает. Впрочем, кто теперь не путает?

Дмитрий узнал о повестке в тот же день и вечером пришёл на Миллионную с бумагой.

Ему было двадцать четыре. За пять лет худой почтовый мальчишка вырос в широкоплечего молодого человека с упрямым подбородком. Дмитрий составлял протоколы не хуже судейского чиновника, прочитал все книги Оболенцева и половину книг из библиотеки Тверского дворянского собрания. Устав уголовного судопроизводства выучил наизусть, не дожидаясь ничьих просьб. Два года назад он по вечерам занимался с Оболенцевым и отставным гимназическим учителем, нанятым за десять рублей в месяц. Освоил программу шести классов и сдал экзамены экстерном в Тверской мужской гимназии. По латыни он получил тройку, по математике — пятёрку. Учитель математики пожалел, что Дмитрий не учился с детства: из него мог бы выйти инженер.

Дмитрий положил перед ним свидетельство.

— Вольноопределяющийся второго разряда, — сказал он. — По свидетельству имею право. У воинского начальника уже спросил: хоть завтра.

— Дмитрий…

— Андрей Иванович, вы меня не отговаривайте. Вы сами от отсрочки отказались. Председатель кучеру рассказал, кучер — Пелагее Ивановне, а уж она мне.

Оболенцев улыбнулся: в Твери новости проходили через кучеров быстрее, чем через канцелярию. Взглянув на Дмитрия, Оболенцев понял: отговаривать бесполезно.

— Ты понимаешь, что нас пошлют в разные места?

— Не пошлют, — сказал Дмитрий. — Я узнавал. Вольноопределяющихся можно прикомандировывать писарями к штабам, если есть ходатайство. Напишете ходатайство — и я опять буду ваши протоколы переписывать.

— Я, Дмитрий, иду командовать взводом.

— Это пока, — сказал Дмитрий.

Дмитрий говорил с такой уверенностью, что Оболенцев только покачал головой. Позднее, когда всё устроилось именно так, он не раз вспоминал этот разговор. О письме Дмитрий знать не мог. В двадцать четыре года он просто не сомневался, что добьётся своего.

Письмо пришло двадцать шестого, накануне явки. Из Варшавы оно шло четыре дня: дороги были забиты эшелонами. На конверте стоял штемпель военной цензуры, хотя цензор, судя по всему, его не вскрывал. Оболенцев сразу узнал почерк: Ведерников писал крупно и разборчиво. В конце каждой короткой строки стояла твёрдая точка.

Оболенцев вышел с письмом на крыльцо: пока в сумерках ещё можно было разобрать строчки. Пелагея Ивановна стояла в дверях и смотрела не на него, а на улицу, где под окнами проходила очередная рота. Мобилизованные из уезда шли ещё в своей одежде — в поддёвках и лаптях, с сундучками на плечах.

«Андрей Иванович.

Пишу коротко, потому что времени нет. Шестнадцатого июля на станции Граница я видел Фрола. Он жив, бреет затылок, носит паспорт рижского мещанина и продал германскому офицеру то, что мы с вами в декабре девятого года считали целым. Список. Копию. Двадцать пять листов ушли за кордон, семнадцать у меня. Копия снята почерком, который вы знаете, с петлёй на «д». Кроме того, накануне Границы я получил записку почерком без петель. Его вы тоже знаете.

Получается, что тот, кого мы с вами хоронили, жив, а тот, кого мы с вами не смогли посадить, мёртв, и мёртвый продаёт нас немцам с того света.

Теперь главное. Варшава на военном положении, жандармы подчинены армии, армия нас не любит. Мне нужен человек, который умеет допрашивать так, чтобы потом суд не выбросил протокол. Здесь сейчас начнут хватать всех подряд, и через месяц полевые суды будут вешать за немецкую фамилию. Мне нужно, чтобы вешали только виноватых, а для этого нужны доказательства. Я знаю, что вы прапорщик запаса. Я написал в штаб округа ходатайство о прикомандировании вас для производства дознаний по делам о шпионаже. Ремезов, это полковник, наш армейский начальник, ходатайство подписал, потому что ему нужны люди, и потому, кажется, что он надеется, что вы окажетесь умнее меня. Если вас призовут раньше, чем придёт приказ, покажите воинскому начальнику это письмо и копию ходатайства.

Дмитрию кланяйтесь. Скажите ему, что смит-вессон Кузьмы Лукича пусть возьмёт.

Г. Ведерников.

P.S. Часы идут».

Оболенцев сложил письмо и тут же развернул вновь: хотелось перечитать последнюю строку. Часы он помнил. Пять лет назад, декабрьским вечером на Фурштатской, Ведерников завёл их после шести месяцев тишины. Тиканье разнеслось по пустой квартире Глинского.

— От подполковника? — спросила Пелагея Ивановна.

Ведерникова она ни разу не видела. Но за пять лет Оболенцев и Дмитрий столько рассказывали о нём, что она считала подполковника почти своим.

— От него.

— Зовёт?

— Зовёт.

Пелагея Ивановна перекрестилась, повернувшись к маленькой тёмной иконе над дверью.

— Ну, слава богу, — сказала она. — Хоть к своему.

Вечером Оболенцев добрался до сундука.

Сундук стоял в кабинете под окном. Сверху лежал коврик, на котором любил спать кот. Под зимними вещами обнаружилась картонная коробка из-под сигар, перевязанная бечёвкой. На крышке рукой Оболенцева было выведено: «Варнак. Начато 19 июня 1909 года. Окончено…», и дальше пустое место. В коробке были копии всех протоколов дела, которые Дмитрий переписал для себя, тетрадь с выписками, две фотографические карточки, засохшая веточка белой сирени и записка в одну строку, без подписи, почерком ровным, круглым, без единой петли: «Вы хорошо играли, Андрей Иванович. Антракт».

Эту записку Оболенцев получил по почте в феврале десятого года, через два месяца после того, как в Петербурге объявили, что арестант Кривошеин умер в камере номер семнадцать. На конверте стоял петербургский штемпель. Оболенцев показал записку Ведерникову. Тот долго разглядывал строчку, потом предположил, что это шутка кого-нибудь из газетчиков. Но Оболенцев видел: Ведерников и сам этому объяснению не верит. Записку положили в коробку. Больше они о ней не говорили.

Оболенцев вынул записку и положил рядом с письмом Ведерникова.

— Дмитрий, — сказал он. — Посмотри.

Дмитрий склонился над бумагами.

— Помню, — сказал он. — А что с ней?

— Он пишет, что перед Границей получил записку тем же почерком. Без петель. Это Кривошеин его вызвал на Границу. Предупредил, что будут продавать список.

— Зачем?

Оболенцев не ответил. На зелёном сукне лежали два листа: округлые буквы без петель и крупный, прямой почерк Ведерникова. Оболенцев вспомнил, как пять лет назад актёр Семён

Кривошеин убивал людей словом и записками и ни разу не взял в руки оружия. Если Кривошеин жив, случайных слов от него не дождёшься.

— Потому что ему не всё равно, — ответил он наконец. — Только вот почему — ума не приложу.

Дмитрий подошёл к столу, выдвинул нижний ящик и достал оттуда свёрток в промасленной тряпке. Под тканью лежал старый смит-вессон, третья модель, вычищенный до блеска, с потёртой деревянной рукояткой, на которой ножом были вырезаны буквы «П. Л.». Лука Панкратов, отец Кузьмы Лукича, ходил с этим револьвером в Хиву. Кузьма Лукич носил оружие двадцать лет, но так и не выстрелил из него. Три года назад, в день, когда Дмитрию исполнился двадцать один год, Оболенцев отдал ему револьвер, как обещал.

Дмитрий и сам ни разу не стрелял из него. Он чистил его каждое воскресенье, смазывал, проверял барабан и заворачивал обратно в тряпку. Однажды Оболенцев спросил, почему он не сходит в тир. Дмитрий ответил, что из этого револьвера он выстрелит лишь однажды — когда не будет права промахнуться.

Теперь он взвесил револьвер в руке и положил в карман шинели, которая висела у двери.

— Подполковник велел, — сказал Дмитрий, словно оправдываясь.

Оболенцев хотел возразить, но промолчал.

Воинский начальник, капитан Трубников, прихрамывавший, с красными от недосыпа глазами, прочёл письмо Ведерникова и копию ходатайства. Хмыкнул и сообщил: приказа о прикомандировании нет, а прапорщик Оболенцев назначен в маршевую роту, которая уходит послезавтра на пополнение в Двадцать третью пехотную дивизию.

— А дивизия где? — спросил Оболенцев.

— Дивизия, господин прапорщик, там, где ей велено, — сказал Трубников. — О её передвижениях мне не докладывают. Знаю только, что маршевая рота идёт через Брест на Варшаву. К своему подполковнику попадёте, только сперва с винтовкой.

Трубников почесал щёку, взял перо и сделал пометку на предписании.

— Вот. Вольноопределяющийся Сыромятников назначается в ту же маршевую роту. С ходатайством о прикомандировании писарем. Если в Варшаве ваш подполковник что-нибудь сможет сделать, пусть делает. Если нет, будете воевать вместе. Это лучше, чем порознь. Я в японскую воевал порознь со всеми, кого знал. Не советую.

Из Твери эшелон отправлялся двадцать девятого июля.

На вокзале яблоку негде было упасть. Маршевую роту грузили в товарные вагоны, на которых мелом было написано «40 человек, 8 лошадей», и солдаты в непривычной ещё форме забирались в вагоны с сундучками, прощались через двери, передавали друг другу хлеб и бутылки. Бабы голосили. Пожарный оркестр играл «Прощание славянки»: сбивался, умолкал на такт и снова подхватывал марш. Какой-то купец в белом картузе ходил вдоль состава и раздавал солдатам по пачке папирос и по рублю, крестил каждого и плакал.

Пелагея Ивановна, маленькая, в чёрном платке, стояла у вагона с узелком в руках. В узелке были пироги, шерстяные носки, две рубашки и иконка Николая Угодника в серебряном окладе, которую Оболенцев помнил с детства: она всегда висела в изголовье его кровати.

— Носи на груди, — сказала она. — Не снимай. Мой Никифор носил в турецкую и пришёл. Кривой, а пришёл.

— Хорошо, няня.

— И пиши. Каждую неделю пиши. Не напишешь — Дмитрию уши надеру, когда вернётся.

— Хорошо, няня.

Она перекрестила его, потом перекрестила Дмитрия, затем ещё раз Оболенцева и, помедлив, перекрестила весь вагон, сорок человек, восемь лошадей, и отошла.

Паровоз загудел. Вагоны дёрнулись. Оболенцев стоял в открытых дверях. Мимо поплыли перрон, чёрный платок Пелагеи Ивановны, белый картуз купца и музыканты пожарного оркестра. За крышей вокзала ещё виднелась колокольня Вознесенской церкви. Рядом стоял Дмитрий. Он смотрел не на перрон, а вперёд, туда, куда уходили рельсы.

Ехали шесть суток. Под Москвой стояли полдня, пропуская эшелоны с артиллерией. В Москве, на Брестском вокзале, их три часа держали на запасном пути, и Дмитрий бегал за кипятком и вернулся с газетой, где было написано, что германский крейсер обстрелял Либаву и что англичане объявили Германии войну. Под Смоленском простояли всю ночь. Под Минском видели первых раненых, их везли навстречу в санитарном поезде с красными крестами на вагонах, и солдаты из маршевой роты молча смотрели на забинтованные головы в окнах. Под Брестом стояли сутки. Двое других офицеров маршевой роты — учитель гимназии из Кашина и землемер из Бежецка, оба прапорщики запаса — играли в карты на ящике из-под патронов и спорили, кончится ли война к Рождеству или к Пасхе.

В Варшаву пришли четвёртого августа, в шестом часу утра.

Тереспольский вокзал был на правом берегу, на Праге. Когда эшелон медленно втягивался под навес, Оболенцев увидел за путями Вислу, широкую, серую, в утреннем тумане, и за ней на высоком берегу Старый город: колокольни, крыши, купол собора, а левее, над водой, длинные чёрные фермы Александровского моста. Он смотрел на мост и не знал, что через два месяца будет стоять на нём ночью.

На перроне, среди серых шинелей, мешков, ящиков и лошадей, стоял человек в голубом мундире, заложив руки за спину. Выгружавшиеся солдаты обходили его, словно столб. Рядом рыжеусый вахмистр с повязкой под фуражкой что-то жевал.

Оболенцев спрыгнул на перрон. Подполковник Ведерников повернулся к нему.

За пять лет Ведерников заметно поседел: виски и усы стали почти белыми. В остальном он мало изменился. Глаза оставались прежними — серыми, внимательными. Как и пять лет назад, он сначала посмотрел на руки, а потом на лицо.

— Прапорщик, — сказал Ведерников.

— Подполковник, — сказал Оболенцев.

Они пожали друг другу руки. Ведерников достал из кармана серебряные часы, открыл крышку, посмотрел на стрелки и закрыл.

— Приказ о прикомандировании подписан вчера вечером, — сказал он. — Маршевая рота уйдёт без вас. Вольноопределяющегося тоже забираю. — Он посмотрел на Дмитрия, который стоял за спиной Оболенцева, с вещевым мешком на плече, вытянувшись, как учили на плацу перед отправкой, и Ведерников вдруг улыбнулся, коротко, одними углами губ. — Сыромятников. Вырос.

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Револьвер взял?

— Так точно.

— Хорошо, — сказал Ведерников. — Пригодится. — Он повернулся к рыжеусому вахмистру. — Селезнёв. Вещи господ офицеров в пролётку.

Селезнёв молча подхватил мешки. Оболенцев заметил, что вахмистр сплюнул шелуху от тыквенного семечка в кулак, а не на перрон. Эта мелочь расположила его к вахмистру.

— Куда мы? — спросил он.

— На Прагу, — сказал Ведерников. — Тут недалеко. Вчера вечером в своей лавке на Брестской повесился бакалейщик Юзеф Гловацкий. Оставил записку: «Меня заставили». В списке сорока двух он значился под кличкой «Ключник». Это второй повешенный после «Звонаря». Полиция закрывает дело как самоубийство. Мне нужно, чтобы вы осмотрели тело, прежде чем его увезут.

Оболенцев поправил пенсне. За пять лет он привык его носить и уже не замечал.

— А я-то надеялся, вы хоть позавтракать дадите, — сказал он.

— В пролётке и позавтракаете, — сказал Ведерников. — Селезнёв, у тебя есть хлеб?

Селезнёв, не останавливаясь, вынул из кармана шинели завёрнутую в бумагу краюху и, всё так же молча, протянул прапорщику.

Глава 4. Повешенный на Праге

Брестская улица начиналась у Тереспольского вокзала и тянулась вглубь Праги мимо складов, извозчичьих дворов, синагоги, пивных и двухэтажных домов с лавками на первых этажах. Пахло дёгтем, конским навозом, жареным луком и речной сыростью. Здесь говорили по-польски, на идише, по-русски, а порой смешивали все три языка так, что приезжему было трудно разобрать хоть слово. Варшавяне с левого берега редко сюда заглядывали. Они считали, что за мостом начинается другой город — грязный, бедный и опасный, — и охотно пересказывали страшные истории о здешних улицах.

Лавка Юзефа Гловацкого занимала полуподвал дома номер двадцать три. К двери вели четыре истёртые ступеньки. Над входом висела вывеска: «Колониальные и бакалейные товары», ниже — те же слова по-польски. На верхней ступеньке стоял городовой, а вокруг толпились соседки, мальчишки и старик в лапсердаке, который уверял всех, что Гловацкий был добрым человеком: отпускал товар в долг, хотя и ворчал при этом.

Участковый пристав, капитан Мазуркевич, ждал их на ступеньках. Полный, усатый, раскрасневшийся от жары, он встретил гостей подчёркнуто вежливо, хотя досады не скрывал.

— Самоубийство, господин подполковник. Никаких сомнений, — объявил он, не дожидаясь вопросов. — Записка есть, верёвка от его же товара, дверь заперта изнутри на крюк. Пришлось взломать. Доктор осмотрел, акт составили. Ни вдовы, ни детей. Есть племянник в Лодзи — отправили телеграмму, только неизвестно, дойдёт ли. Хоронить будет приход.

— Где тело?

— Пока в лавке. Карету ждём с утра. Да только её под раненых забрали.

Они спустились вниз. В лавке было темно и прохладно. К корице, мылу и керосину примешивался сладковатый запах смерти. Оболенцев помнил его по прежним делам. Покойник лежал на рогоже под мешком из-под сахара. Над ним, на крюке для окорока, вбитом в потолочную балку, висел обрезанный конец верёвки.

Оболенцев снял фуражку, положил на прилавок и опустился на колени.

За десять лет службы Оболенцев видел немало убитых. Осмотр он всегда начинал с рук, затем переходил к шее и лишь после этого смотрел на лицо: оно меньше говорило о последних минутах жизни. Руки у Гловацкого были пухлые, белые, с чистыми ногтями. Под ногтями правой руки Оболенцев увидел тонкие тёмные волокна и, не трогая, показал на них Дмитрию. Дмитрий достал из планшета чистый конверт и старый пинцет, купленный ещё в Твери.

На шее покойного темнела борозда. Оболенцев наклонился, повернул его голову и попросил Селезнёва поднять фонарь. Свет упал на край следа.

— Капитан, — окликнул он, не поднимаясь. — Доктор осматривал шею?

— Как же не смотрел. Смотрел. Написал: странгуляционная борозда.

— А какая?

Мазуркевич нахмурился.

— От верёвки, разумеется, — буркнул он.

— Когда человек вешается, — терпеливо объяснил Оболенцев, будто объяснял всё присяжным Тверского окружного суда, — петля под тяжестью тела затягивается вверх, к узлу. Борозда идёт косо, поднимается к затылку или за ухо и там прерывается, потому что под узлом верёвка не касается кожи. А здесь борозда идёт ровно, горизонтально, ниже кадыка, и замыкается кругом. Так бывает, когда петлю затягивают сзади, руками, на живом человеке, который стоит или сидит. Потом его, уже мёртвого, вешают на крюк, и тогда появляется вторая борозда, вот эта, косая, бледная, без кровоподтёков, потому что после смерти кровоизлияния уже не возникают. Две борозды, капитан. При самоубийстве обычно бывает одна.

Мазуркевич отвёл глаза. С улицы доносились голоса соседок.

— Доктор… — начал Мазуркевич.

— Доктор спешил, — вмешался Ведерников. — Теперь здесь все спешат. Продолжайте, Андрей Иванович.

Оболенцев поднялся, подошёл к крюку и посмотрел на обрезанный конец верёвки. Она была новой, пеньковой — такой здесь торговали по двадцать копеек за сажень. Подобные узлы он видел на коновязях, но как они назывались, не помнил.

— Селезнёв, — позвал он. — Вы в кавалерии служили?

— В пехоте, ваше благородие. Лейб-гвардии Литовский полк.

— Узнаёте узел?

Селезнёв наклонился к верёвке. Рыжие усы у него дрогнули.

— Знаю, — сказал он. — Казачий. Коня так привязывают, чтобы не сорвался, а хозяин мог одним рывком распустить узел. У нас в полку пластун был, из кубанцев, переведённый. Он так привязывал. Больше никто.

Ведерников переглянулся с Оболенцевым. Оба вспомнили убийцу вахмистра Панкратова, погибшего пять лет назад на льду у Петропавловки: пластуна из дисциплинарного батальона, с бритым затылком и белым шрамом.

— Дверь была заперта изнутри на крюк, — упрямо повторил Мазуркевич. — Как же тогда убийца вышел?

— Покажите-ка крюк, — попросил Оболенцев.

Железный крюк на дверной петле входил в кольцо на косяке. Оболенцев велел прикрыть дверь, осмотрел с улицы щель у порога и вернулся за ниткой. Дмитрий достал из планшета моток суровой нити. Оболенцев накинул нитяную петлю на крюк, приподнял его и пропустил свободный конец нити под дверью. Затем вышел, закрыл дверь и потянул за нить. Крюк соскользнул вниз и вошёл в кольцо. Оболенцев дёрнул сильнее, нитка соскочила с крюка, и он вытянул её всю на улицу.

Соседки ахнули. Старик в лапсердаке что-то произнёс на идише; кто-то засмеялся.

— Он говорит, — перевёл Мазуркевич мрачно, — что этот пан офицер за неделю пересажает половину Праги, потому что здешние лавочники частенько запирают двери именно так, уходя в пивную.

— Передайте, что мне нужен только один, — ответил Оболенцев.

После этого Оболенцев вернулся к записке.

Записка лежала на прилавке под гирей от весов. Мазуркевич уже приобщил её к акту. Это был листок, вырванный из конторской книги. Карандашом, печатными буквами, по-русски было написано: «Меня заставили. Простите. Ю. Г.».

— Гловацкий вообще писал по-русски? — спросил Оболенцев.

— По-русски здесь многие пишут, — сказал Мазуркевич. — Для казённых бумаг приходится.

Оболенцев снял с полки конторскую книгу, из которой был вырван листок. На засаленных страницах сохранились записи за три года. Все — по-польски, мелким наклонным почерком, с росчерком под каждой суммой. По-русски в книге не было ни одного слова, кроме штемпеля акцизного надзора на первой странице.

— Человек тридцать лет пишет по-польски, пером, с наклоном и с росчерком, — сказал Оболенцев. — А перед смертью берёт карандаш и пишет по-русски печатными буквами. Капитан, вы бы так сделали?

Мазуркевич снял фуражку, вытер платком лоб и водрузил её обратно. Потом сказал, обращаясь не к Оболенцеву, а к Ведерникову:

— Господин подполковник, я тридцать лет на Праге. У меня на участке за эту неделю мобилизовано четыреста душ, реквизировано двести лошадей, разбито три пивных, убито двое

в драке, ограблен один склад и задержано шестеро шпионов, из которых пятеро оказались пьяными извозчиками, а шестой немым от рождения. Я не могу каждому повешенному…

— Вижу, капитан, вам и без нас забот хватает, — сказал Ведерников. — Забираем это дело себе. Оформите передачу, я подпишу.

Мазуркевич расправил смятую фуражку. По его лицу было видно, что он вздохнул с облегчением.

Пока Оболенцев диктовал протокол осмотра, а Дмитрий писал, Ведерников обошёл лавку. Он прошёл вдоль полок, бочек с селёдкой и мешков с крупой, ящик с мылом и икону Ченстоховской Божьей Матери в углу за прилавком. Под иконой, на маленькой полочке, где обычно стояли свечи и лампадное масло, стоял стакан с водой. В нём — веточка сирени.

Сирень засохла; бурые лепестки осыпались. Вода в стакане помутнела — ветка стояла здесь уже несколько дней. В августе свежей сирени было уже не найти.

Ведерников задержался у стакана и, не оборачиваясь, позвал:

— Капитан, подойдите. Что это?

Мазуркевич подошёл к прилавку.

— Сирень, господин подполковник.

— Это я вижу. Откуда она здесь?

— Не могу знать. Может, баба какая принесла. Покойник был холостой, но к нему ходили.

— Кто ходил?

Мазуркевич привёл с улицы соседку в цветастом платке. Женщина испуганно оглядела офицеров. Она заговорила по-польски, и Мазуркевич стал переводить: неделю назад, в субботу, пан Юзеф пришёл из костёла бледный, держал в руке эту ветку и сказал ей, что нашёл её у себя под дверью, в лавке, утром. Поставил её в воду под икону: решил, что это знак, над которым стоит задуматься. Потом приходил какой-то пан, не здешний, в сером, с воротником до горла, и они долго говорили за закрытой дверью. Вчера пан Юзеф закрылся рано, ещё засветло, а сегодня утром не открыл. Больше она ничего не знает. И просит отпустить её поскорее: на плите молоко.

— Благодарю. Ступайте, — сказал Ведерников.

Ведерников достал ветку из стакана, бережно завернул её в чистый носовой платок и спрятал в нагрудный карман.

Оболенцев заметил это, но промолчал. Лишь когда они вышли на улицу, Селезнёв отправился за пролёткой, а Дмитрий отошёл к городовому подписать протокол, Оболенцев тихо спросил:

— Это он?

— Тот самый.

— Предупредил его?

— Он предупреждал. Неделю назад. Гловацкий понял, что ему подали знак, но не разгадал его. Сирень значит одно: беги. Или иди к нам. Но Гловацкий остался. Решил обдумать всё. — Ведерников помолчал. — А пока он думал, пришёл тот, второй, с воротником до горла. Предложил служить. Гловацкий, видимо, отказался. В долг отпускал даже тем, кто не мог расплатиться сразу. Его убили, а записку оставили не для нас. Она предназначалась остальным двадцати трём.

— Чтобы все поняли: кто не согласится, тот повесится сам, — сказал Оболенцев.

— И напишет, что его заставили. — Ведерников посмотрел на синагогу через улицу: облупленный фасад, двое стариков на ступеньках. — А «Звонарь»? Тот, первый, который повесился в июле? Я тогда не поехал. Мне сказали: старый человек, долги, пил. Не проверил. Был занят Границей, думал, до старика ещё успею добраться.

— Можно добиться эксгумации.

— Можно. Попросим у Ремезова разрешения. Он скажет, что у него нет людей копать.

Селезнёв подогнал пролётку. Они сели. Дмитрий примостился на козлах рядом с извозчиком. Колёса загрохотали по булыжной мостовой: они направились к мосту, и Оболенцев, глядя на проплывающие мимо вывески, сказал:

— Григорий Петрович, как называется узел, которым верёвка была привязана к крюку?

— Не знаю. Спросите у Селезнёва.

— Селезнёв, как называется узел?

Селезнёв обернулся с козел, помедлил, сплюнул шелуху в кулак и сказал:

— Мы его в полку называли «чёрт держит». Держит крепко, а понадобится — одним рывком распустишь.

До моста никто больше не заговорил.

На мосту их остановил патруль. У въезда стояла рота ополченцев: пожилые бородачи в новеньких шинелях не по размеру, с винтовками старого образца. Унтер-офицер водил пальцем по документам, беззвучно шевеля губами. Наконец он вернул бумаги и козырнул. Пролётка въехала на мост. Под ними медленно текла Висла, жёлтая, широкая, с отмелями, на которых сидели чайки. По мосту навстречу шли подводы с сеном, санитарные фургоны, взвод сапёров с лопатами на плечах. Над фермами моста, высоко в небе, кружили голуби.

Селезнёв смотрел на голубей.

— Ваше высокоблагородие, — неожиданно произнёс он.

Ведерников повернулся к нему. За три года службы Селезнёв редко начинал разговор сам.

— Что?

— Голуби, — сказал Селезнёв и показал подбородком вверх. — Не здешние. Здешние, площадные, кружат низко и садятся на мост, там овёс с подвод просыпается. А эти идут высоко и прямо, на закат. Почтовые. Я голубей с детства держу, ваше высокоблагородие. У отца в Порхове голубятня была на сорок пар. Почтовый голубь так идёт, когда домой летит. — Он помолчал. — А дом у них на закате.

Ведерников посмотрел на запад. Над крышами и колокольнями Старого города голуби превратились в едва различимые точки.

Далеко на западе, за линией фронта, лежала Германия.

Вечером Ведерников отправил в Саксонский дворец рапорт: «По результатам осмотра, произведённого прикомандированным прапорщиком Оболенцевым, смерть мещанина Гловацкого, значащегося в похищенном списке, следует признать насильственной. Обстоятельства указывают на то, что германская разведка использует похищенные сведения для вербовки и устрашения бывших секретных сотрудников. Ходатайствую о разрешении на эксгумацию тела мещанина Войцеха Кульчинского, умершего 14 июля. Ходатайствую также о предоставлении в моё распоряжение двух нижних чинов для наблюдения за полётами почтовых голубей над городом».

В одиннадцать вечера нарочный принёс ответ. На полях рапорта, поперёк последнего абзаца, ровным твёрдым почерком было выведено карандашом: «Эксгумацию разрешаю. Людей нет. Голубями займитесь сами. Р.».

Перечитав приписку, Ведерников убрал рапорт в папку.

— Голубями займёмся сами, — сказал он Селезнёву, который ждал у двери. — Ты говорил, у отца голубятня была. Сорок пар.

— Было дело, ваше высокоблагородие.

— А сам-то голубей водил?

— С семи лет, ваше высокоблагородие. До призыва.

— Вот и займись, — распорядился Ведерников. — Возьми Сыромятникова, он молодой, глаз острый. И выясни, откуда их выпускают.

Селезнёв козырнул и вышел. Его тяжёлые шаги затихли на лестнице. В комнате слышалось лишь тиканье часов Глинского у чернильницы.

Ведерников достал из кармана носовой платок и развернул его. На белом полотне лежала сухая, ломкая ветка сирени с единственным уцелевшим соцветием. Он вспомнил дачу «Сирень» в Павловске и Глинского в Нижнем Новгороде, шептавшего перед смертью: «Сирень». Листы дела номер четыреста двенадцать: кто-то вернул их в архив Департамента полиции, нарисовав на полях лиловую ветку.

— Ну здравствуй, Семён Иванович, — сказал он вслух в пустой комнате. — Значит, ты теперь за нас?

Он завернул ветку в платок и положил в несгораемый ящик — к семнадцати листам, исписанным почерком с петлёй на «д».

Глава 5. Голубятня

Вечером Селезнёв объяснял Дмитрию, как устроена голубиная почта. Они сидели на Хмельной. За окном темнели крыши.

Селезнёв отвечал не сразу. Прежде Дмитрий принимал его медлительность за тугодумие. Теперь понял: вахмистр не берётся судить о незнакомом деле.

— Почтовый голубь, — говорил Селезнёв, — летит только домой. Куда вздумается, его не отправишь. Его надо вырастить там, куда он потом полетит. Этих голубей вырастили у немцев, а потом привезли сюда. Ещё до войны: в корзинах, ящиках, среди багажа. С тех пор держат взаперти. Выпусти такого хоть раз — и не вернётся. Прямо домой уйдёт. Значит, они сидят в голубятне под замком, как арестанты, и летают один раз в жизни. — Он сплюнул шелуху в кулак. — Голубятня, из которой не выпускают птиц, — тюрьма. Её на крыше не видно. Видно только, кто туда корм носит.

— А корм им откуда?

— С базара, откуда же ещё? С неба не сыплется.

На Керцеляке, огромном базаре на Воле, торговали всем — от краденых часов до живых коз. За Желязной Брамой в базарные дни кошелёк держали поближе к телу. Голубиный ряд тянулся вдоль забора в дальнем углу. Птиц продавали в плетёных клетках; рядом лежали мешки с викой, горохом, коноплёй и просом, глиняные поилки и кольца на лапки. Торговцы перекрикивали друг друга. К вечеру у Дмитрия охрип голос.

Три утра Селезнёв провёл в голубином ряду. В старом пиджаке и картузе он походил на отставного солдата, увлёкшегося разведением голубей на старости лет. Он торговался за каждую пару, брал птиц в руки, раздвигал перья на груди, заглядывал в клюв, спорил о породах, бранил продавцов — и ничего не покупал. На третий день продавцы уже встречали его как знакомого. Они говорили по-польски, он отвечал по-русски, но о птицах договаривались без переводчика.

В тот же день Селезнёв явился на Хмельную и, не успев снять картуз, объявил:

— Есть.

Дмитрий как раз разливал чай.

— Кого нашёл?

— Старик Шмуль, у которого вика. Говорит, есть покупатель. Берёт вику и пшеницу по два пуда в неделю, с весны. Платит хорошо, не торгуется. Шмуль спросил, каких голубей он держит. Тот ответил: турманов. Сколько пар? Двадцать. — Селезнёв помолчал. — Двадцати парам турманов, Дмитрий Савельевич, двух пудов на месяц хватит. А он берёт на неделю. За неделю два пуда съест сотня голубей. Больше. И турманов одной викой не кормят, им просо нужно. Шмуль это сразу приметил. Рассказал мне и засмеялся. Говорит, пан не знает, что такое голубь. Покупает корм, будто овёс для лошади.

— Где живёт?

— Адреса нет. Приезжает с извозчиком, грузит мешки и уезжает. По словам Шмуля, бывает по пятницам, с утра.

Теперь нужно было дождаться пятницы.

Выслушав Селезнёва, Ведерников повернулся к Дмитрию:

— Извозчика ты не упусти. Пешком за ним не угонишься. Возьми другого извозчика, держись за два квартала. Если что, ты студент, едешь к тётке. В Варшаве каждый второй студент едет к тётке.

— Какой же из меня студент, ваше высокоблагородие?

— А ты настоящих студентов видел? — усмехнулся Ведерников. — Всякие встречаются.

В пятницу, в восьмом часу утра, на Керцеляке появилась пролётка. Из неё вышел человек лет шестидесяти, сутулый, в чёрной шляпе и в люстриновом пиджаке, с узким лицом и в очках без оправы. Он поздоровался со Шмулем, расплатился, не пересчитав сдачу. Двое носильщиков погрузили четыре мешка. Человек сел и уехал.

— Следом. Только не приближайтесь, — сказал Дмитрий своему извозчику.

Путь оказался долгим. Пролётка с мешками свернула с Воли на Хлодную, потом на Желязную, потом через Маршалковскую к Висле. У костёла Святого Александра на площади Трёх Крестов Дмитрий чуть не потерял её в потоке подвод. На Новом Свете пропускали артиллерийскую бригаду, и движение встало. Вскоре он снова заметил знакомый экипаж. Тот спускался по Тамке к реке и остановился у трёхэтажного дома с облупленной штукатуркой, с балконами на чугунных кронштейнах, с мансардой под зелёной железной крышей.

На углу висела табличка: «Тамка, 19».

За квартал до дома Дмитрий отпустил извозчика и дальше пошёл по теневой стороне улицы. Человек в люстриновом пиджаке отпер ворота. Извозчик внёс мешки во двор, вернулся к пролётке и уехал. Ворота закрылись.

Дмитрий поднял голову. Слуховое окно мансарды закрывал новый, ещё некрашеный ставень из свежих досок. Голубей на крыше он не заметил.

В дворницкой ему рассказали о жильце мансарды. Пан Франц Кесслер, настройщик фортепиано, подданный Австро-Венгрии. Вдовец тихий, не пьёт, за жильё платит на полгода вперёд. В комнате у него рояль; целыми днями он играет гаммы, на которые жалуются жильцы. Посетителей не бывает. Иногда сверху слышно воркование, хотя голубей никто не видел: пан Кесслер их не выпускает. Он уверяет, что они породистые и могут потеряться.

— Австрийский подданный, — повторил Ведерников вечером. — И до сих пор в Варшаве?

— Его не могли выслать, ваше высокоблагородие, — сказал Оболенцев. — По распоряжению генерал-губернатора от двадцатого июля германские и австрийские подданные мужского пола призывного возраста подлежат высылке. Ему шестьдесят один год. Призывной возраст миновал, в списках его нет. Я проверил.

— Вот почему его и выбрали. Пожилой человек меньше привлекает внимание.

— Похоже на то.

Ведерников склонился над картой. Дом на Тамке стоял на откосе над Вислой. Из мансарды был виден мост.

— В какое время он выпускает птиц?

— Никто не видел, чтобы он их выпускал, — сказал Дмитрий. — Но Селезнёв видел голубей над мостом в понедельник утром, около семи. И во вторник. И вчера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.